

· Так в сонном сознании игры можем мы найти разрешение всех нравственных антиномий, непримиримых в нашем дневном сознании.

Так из чувства *стыда* в ребенке пробуждается впервые *чувственность*. . .

Но этот вопрос настолько сложен, что требует отдельного исследования, тем более что этой стороны Ад. Герцык совершенно не касается в своих воспоминаниях.

«Так я жила среди людей, — говорит Ад. Герцык. — Все время видя за ними создание своей фантазии, слыша за их словами речи тех — других, и это слепое лунатическое состояние заслоняло все события жизни. . .

Быть может, если бы я иначе играла в детстве, жизнь моя была бы иной? И как нужно играть, чтобы из игры незаметно развернулась жизнь? . .

Затаенная работа воображения все более развивала пассивную созерцательность, угрюмую жажду одиночества, потребность жить про себя, не нарушая своих дум столкновением с жизнью. Было бы длинно рассказывать, как потом жизнь постепенно, жестоко и мучительно отвоевывала меня назад, с какой болью совершался этот переход и как навсегда осталась я сторонней зрительницей жизни, и каждый призыв ее вызывает боль и протест в моей душе».

Повесть об этом я прочел в «Цветнике Ор» в цикле стихотворений Аделаиды Герцык «Золот ключ». <sup>9</sup> Но едва ли эта уединенная и строгая поэзия будет понятна тому, кто не прочел ее детских воспоминаний.

«В детских играх подобает искать вдохновения и задач всей нашей жизни», гласит эпитафия из Гюйо, служащий фронтисписом к ее воспоминаниям.

## КНЯЗЬ А. И. УРУСОВ

*Кн. А. И. Урусов. Его статьи, письма и воспоминания о нём.  
Издание А. А. Андреевой и О. Б. Гольдовского*

«Есть люди, истинное призвание которых — мыслить, выдумывать, болтать, развеивая эти мысли на воздух, служа миссионерами художественных и других идей. Невидимое сотрудничество таких людей не проходит бесследно. Они являются неведомыми инициаторами многих идей, которыми живут эпохи.

Когда они начинают писать, они берут назад свое дело, нарушают принцип разделения труда. Я, быть может, принадлежу к числу этих бесполезных, но необходимых болтунов и книгонош. Сколько я распространил флюберовских и бодлеровских томов! Ведь это мне зачтется в стране, где зачитываются Сенкевичем и Надсоном». <sup>1</sup>

Эти слова, написанные кн. А. И. Урусовым в одном из писем, — его скромное «*Ehregi monumentum*». . . <sup>2</sup>

Имя знаменитое в анналах русской адвокатуры, а изданием этих двух

толстых томов, посвященных его статьям, письмам и воспоминаниям о нем, приобретает еще более культурное и общественное значение для умственной истории России в конце XIX века.

Дополняя то, что недосказано им в этих словах, можно сказать: есть люди, историческая роль которых быть нервными центрами общественного организма. Эта роль громадна по своему значению, потому что не может возникнуть общественности в том народе, у которого нет этих развитых нервных центров. Такие люди воплощают в себе тонкое ухо, острую приметливость, вещую чуткость общества. На них зиждется терпимость и нервность народа, связь старого с новым, одного поколения с другим.

Историческая роль кн. А. И. Урусова в том, что он действительно был нервным центром современного ему общества. Концентрическими кругами расходился от него трепет его личности, его интересов, его художественных вкусов, его литературных увлечений.

Подобных людей было много в известные эпохи развития западно-европейского и античного общества, но у нас их почти совсем нет. Идеальный тип такого общественного деятеля, быть может, с наибольшей полнотой создан Пушкиным в «Послании к вельможе». При чтении писем Урусова невольно приходят на память стихи:

. . . Ступив за твой порог,  
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.  
Книгохранилище, кумиры и картины,  
И стройные сады свидетельствуют мне,  
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,  
Что ими в праздности ты дышешь благородной.  
Я слушаю тебя. Твой разговор свободный  
Исполнен юности. Влиянье красоты  
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты  
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.

Здесь невольно хочется заменить имена Екатерины, Вольтера, Бомарше — именами Бодлера, Флобера, Гонкуров, а имена Алябьевой и Гончаровой именем Элеоноры Дузе.

В Урусове ярко и законченно сказался прекрасный в своих высших проявлениях тип русской дворянской культуры, тот тип русского барина, о котором говорит Достоевский в «Подростке» устами Версилова:

«Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как Россия. О, более! Русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти обломки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них там теперь другие чувства и другие мысли, и они перестали дорожить старыми камнями».

Эта творческая любовь к «старым камням» в высшей степени развита у Урусова. Она деятельно и творчески проникает всю его жизнь, каждое слово, им написанное.

Он по природе своей консерватор — не в политическом смысле, конечно, а в настоящем и глубоком значении этого слова, — хранитель, ценитель, собиратель жизни. Эта жажда сохранить все, что можно, от текущего момента, оставить как можно больше подлинных исторических документов делала его ярким коллекционером.

В одной статье («Интересны ли мы?») он делает такой призыв к русскому обществу:

«Не успеет пройти ста лет, как мы с вами, господа, и все, что нас окружает, — все это сделается интересным, все это будет достоянием музеев и коллекций. Еще сто лет, и наши кухонные книжки попадут в библиотеки в отдел рукописей. Весь вздор, какой мы пишем, будет иметь историческое значение. Каждая строчка пустого письма — через несколько веков приобретет значение свидетельства, чуть не памятника. И не воображайте, что такая честь подобает только гениям. Я говорю не о гениях, а о толпе. История пишется умами высшими, а делается всеми. Моя история — биография ничтожного и неинтересного человека — интересна и значительна как часть целого. А мою историю я пишу каждый день в моих письмах и читаю в письмах, которые мне пишут. . . Все, господа, все нужно коллекционировать. И поверьте, охраняя от разрушения и истребления смиренные памятники жизни, вы потрудитесь для культуры».<sup>3</sup>

Сам он строго следовал этим правилам и хранил каждый материальный знак жизни. С неослабным вниманием и постоянством он в течение 40 лет вел свои записные книжки<sup>4</sup> (на что необходима немалая сила воли), чтобы «спасти эфемерное мгновение жизни от тления, чтобы фиксировать **мираж жизни**».<sup>5</sup>

«Боже мой, чего только нет в этих записных книжечках, — пишет он в одном письме, — и романы, и идиллии, и эклоги, и дела, и расходы, и адреса, и рецепты, перлы и стихотворения (чужие, конечно), и автографы. Посоветуйте, что мне делать с ними? Я хочу их в железную шкапулку и на 100 лет в Румянцевский музей, запереть, запечатать и ключ забросить. Через сто лет это будет интересно, теперь было бы скандально. Я старался записывать все то, что вообще не пишется».<sup>6</sup>

По тем отрывкам писем, дневников и статей, которые собраны теперь, можно только с завистью сказать: «Как будут счастливы те исследователи истории русского общества, в руках которых окажутся эти документы!» — потому, что заранее можно предвидеть, каким свидетелем об истории своего времени явится Урусов.

«Есть люди, истинное призвание которых служить миссионерами идей, развеивая эти мысли на воздух. Когда они начинают писать, то они берутся не за свое дело».<sup>7</sup>

Быть может, требовательность к форме, основанная на глубоком понимании ее у других, парализует их перо.

Не был ли таким человеком Стефан Маллармэ, который своими беседами воспитал целое поколение французских поэтов, и Оскар Уайльд, который «свой гений вложил в жизнь и разговоры, а талант оставил для художественных произведений»?<sup>8</sup> Литературный багаж такого рода людей всегда кажется непропорциональным их значению, их влиянию.

Даже у Маллармэ, даже у Оскара Уайльда. У них должны быть свои Ксенофонты,<sup>9</sup> свои Эккерманы,<sup>10</sup> свои Турнброши<sup>11</sup> («Les opinions de M. Jérôme Coignard» Анатоля Франса), которые записывали бы их слова и беседы

Но легучий и мгновенный талант слова, протекающий вместе с тем мгновением, что заставило его трепетать в воздухе, разве может быть зафиксирован и сохранен?

Андре Жид сохранил нам несколько драгоценных отрывков бесед Оскара Уайльда, но разве они дают всю полноту его гениальных разговоров, разве передают обаяние Маллармэ те диалоги, что сохранены в «Солнце мертвых»<sup>12</sup> Камилла Моклера?

Так и лучшая часть таланта Урусова, главное и неотразимое обаяние его ускользнуло из-под рук издателей сборника его памяти. Все, что здесь собрано, дразнит, обещает, но не дает ни живого трепета речи, ни острых игл ума.

«И давая этот материал, издатели вынуждены исключить из него самую ценную, существенную часть — те судебные речи, которые составляли главную славу Урусова. . . Он никогда не писал своих речей. . . Вдовой и сыном покойного в наше распоряжение предоставлен обширный рукописный материал. . . Ничто из них не оказалось удобным для печати». . .<sup>13</sup>

Горько положение тех издателей, которым приходится выбирать и считаться с тем, что можно теперь напечатать об интимной жизни и что нельзя. Из писем Урусова, которые он так любил писать и писал много, помещено очень незначительное количество, и притом писем безразличных, любезных. . .

Когда есть выбор того, что можно печатать, и того, что печатать нельзя, то обыкновенно все наиболее интересное и исторически важное оказывается непригодным для печати.

В этом сказывается глубокая трусливость нашего общества. Если печатаются письма, дневники, документы, то они должны печататься целиком, должен существовать «суд мертвых» над живыми.

Если опубликовываются материалы, то они должны опубликовываться целиком, без пропусков, все, что есть. Только это может дать ценный исторический документ, только это будет согласно с теми требованиями документальности, которые с таким глубоким убеждением проповедовал сам Урусов. Иначе они дают иконописный «лик», а не живое лицо человека.

Эти два тома, в которых собраны статьи Урусова о театре (блестящие, глубокие и ценные), воспоминания друзей об Урусове, несколько статей его последнего периода и незначительные отрывки его писем, — нельзя рассматривать иначе, как первые выпуски многотомного издания материалов о кн. Урусове и обществе его времени, в которое войдут и все его письма и письма к нему, которые он так берег и собирал, и его французские статьи из «La plume»,<sup>14</sup> из «Cosmopolis»,<sup>15</sup> его материалы о Флобере и Бодлэре, статья о Бодлэре из «Le tombeau de Baudelaire» и со временем вся серия его дневников и записных книжек и черновых набросков. Если издатели, издавшие эти два тома, не исполнят этого, то они не исполнят

той заповеди сохранения убегающего мгновения жизни, которая сквозит в каждой строке, написанной Урусовым.

Но тем не менее и в том виде, как они сейчас, эти два тома, посвященные кн. А. И. Урусову, глубоко интересны, увлекательны и поучительны потому, что они наставляют именно тем добродетелям, в которых русское общество нуждается в эти годы больше всего: ценить каждую мысль и каждое произведение искусства, уважать каждое явление жизни, каждое явление настоящего связывать с прошлым. С терпимостью и беспристрастием производить отбор культурных ценностей, относиться с почтением к прошлому и хранить знаки и памятники уходящей жизни.

### АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. «ПОСОЛОНЬ»

*Изд. «Золотого руна». 1907 г.*

«Посолонь» — книга народных мифов и детских сказок. Главная драгоценность ее — это ее язык. Старинный ларец из резной кости, наполненный драгоценными камнями. Сокровища слов, собранных с глубокой любовью поэтом-коллекционером.

«Вы любите читать словари?» — спросил Теофиль Готье молодого Бодлэра, когда тот пришел к нему в первый раз.

Бодлэр любил словари, и отсюда возникла их дружба.

Надо любить словари, потому что это сокровищницы языка.

Слова от употребления устают, теряют свою заклинательную силу. Тогда необходимо обновить язык, взять часть от древних сокровищ, скрытых в тайниках языка, и бросить их в литературу.

Надо идти учиться у «московских просвирен»,<sup>1</sup> учиться писать у «яснополянских деревенских мальчишек»<sup>2</sup> или в те времена, когда сами московские просвирни забыли свой яркий говор, а деревенские мальчишки стали грамотными, идти к словарям, летописям, областным наречиям, всюду, где можно найти живой и мертвой воды, которую можно брызнуть на литературную речь.

В «Посолонь» целыми пригоршнями кинуты эти животворящие семена слова,<sup>3</sup> и они встают буйными степными травами и цветами, пряными, терпкими, смолистыми. . .

Язык этой книги как весенняя степь, когда благоухание, птичий гомон и пение ручейков сливаются в один многочисленный оркестр.

Как степь, тянется «Посолонь» без конца и без начала, меняя свой лик только по временам года, чередуясь по солнцу и от «Весны красны»<sup>4</sup> переходя к «Лету красному»,<sup>5</sup> сменяясь «Осенью темной»,<sup>6</sup> замирая «Зимой лютой».<sup>7</sup>

И когда прикинешь всем лицом в эту благоухающую чащу диких трав, то стоишь замороженный цветами, как «Chevalier des Fleures»,\* зачарованным ухом вникая в шелесты таинственных голосов земли.

\* «Кавалер цветов» (франц.).